

## Солдат - всегда солдат

*Сергей Викулов*

Современные поэты в кратких биографиях к сборникам своих стихов не без гордости пишут: в таком-то году закончил Литературный институт..... Михаилу Федоровичу Борисову, поэту моего поколения, выпало на долю закончить институт совсем другого профиля, но не менее знаменитый, вошедший в историю под названием Великая Отечественная война. Далеко не все “учившиеся” в этом институте его сверстники, даже очень талантливые, закончили его и издали потом первые свои книги; они просто не успели их написать: были убиты...

Михаил Борисов остался жив. Хотя это абсолютно не соответствует логике тех сражений, в которых он участвовал. До сих пор дивясь этому чуду, он находит ему одно объяснение: “Судьба!” А я добавляю: “Судьба, Миша, это Бог. Не все осколки и пули отвел он от тебя — они не раз продырявили твою солдатскую шкуру; не от всех мин и снарядов уберег — они не раз пытались отвезть твою душу от тела; но главный, смертельный удар он все-таки отвел от тебя.....”

В 1941 году Мише Борисову исполнилось семнадцать лет (родился 22 марта 1924 года). Услышав по радио, что война, предчувствием которой жил народ, началась, он тут же, тайком от родителей, побежал в райвоенкомат — именно побежал (нынешние “мальчики” не поверят) “записаться добровольцем” на фронт, благо что военкомат теперь был рядом: семья к тому времени переехала из глухой алтайской деревушки (всего 20 дворов) в городок с красивым сибирским названием Камень-на-Оби.

У крыльца военкомата таких, как он, табунилось уже человек пятнадцать, и он крепко обругал себя, что прибежал не первым... Выстоял очередь. Предстал пред хмурые очи комиссара: “Хочу на фронт... добровольцем”. Тот твердо ответил: “Исполнится восемнадцать — приходи!” — и хлопнув ладонью по заявлению, смахнул его в стол.

Но “доброволец” не сдался, стал упрашивать, даже, как он напишет потом, “слезу пустил”: “Ведь я же тогда не успею! Война-то кончится!”

“Успеешь! — мрачно ответил комиссар. Но вдруг, покусав губу, добавил: — Хочешь в военное училище?... Из пушки стрелять научишься...” — “Хочу!” — почти выкрикнул “доброволец”, боясь, как бы комиссар не передумал.

Училище находилось в Томске. Приехал. Поступил. Месяцев пять, не больше, покрутился возле пушек, а в конце декабря 1941 года оказался уже на фронте. Боевое крещение принял в Крыму в составе морского десанта, высадившегося под Керчью. Немцы, не ожидавшие неприятностей со стороны моря, в панике бежали, бросив всю технику, в том числе пушки и целый штабель ящиков со снарядами.

Увидев такое богатство, молодой артиллерист по-мальчишески обрадовался! Еще бы! Представлялся случай избавиться от ротного миномета, с которым он высадился на берег, и заняться прямым своим делом... Немецкая пушка, убедился, немногим отличалась от нашей, советской. Вместе с солдатами заставил ее повернуться куда следует... Поработал на ней, что называется, всласть! Мысль, что лупит по немцам из немецкой же пушки, невероятно воодушевляла!

Однако бои за Керчь с каждым днем все больше ожесточались. Росли потери. Ранило (первый раз!) и тяжело контузило и Мишу Борисова, причем — вот судьба! — не раньше не позже, в день рождения — 22 марта 1942 года, когда ему исполнилось уже восемнадцать лет. Кто вынес его с поля боя, кто отправил в тыл, он не знает и сегодня: в сознание пришел лишь в госпитале, в городке с незнакомым названием Эссендуки...

То ли врачи постарались, то ли молодость взяла свое — через месяц встал на ноги, а через полтора, в конце мая, был снова в строю, получил направление в 14-ю стрелковую (гвардейскую!) дивизию, находившуюся на переформировании, а в ней определен в артиллерийский дивизион, первым номером, то есть наводчиком противотанковой пушки — “сорокапятки”. Эту, довоенного образца, 45-миллиметровую пушечку хорошо знали на

фронте все, особенно пехота, потому что, в отличие от солидных калибров, она почти всегда действовала на передовой, в боевых порядках пехоты, прямой наводкой была по пулеметным гнездам, блиндажам...

Здесь, в дивизии, его “боевой опыт” (опыт десантника) не был проигнорирован — его солдатские погоны украсили две лычки: “Младший сержант!” Вспоминает: “Гордился этим званием! Очень!” Потом будущий поэт воевал на Дону, на правобережном плацдарме; в потрескавшихся от жары, почти каменных степях на подступах к Сталинграду, освобождал Украину... “Сорокапятку” сменил за это время на грозную для врага 76-миллиметровую противотанковую... В бою на окраине совхоза “Челюскинец” Ворошиловградской области она показала себя особенно хорошо. Довелось бить по пехоте буквально в упор: “фрицы” предприняли там “психическую”. И здорово получилось! Более ста зеленых мундиров остались лежать на снегу. Было это 12 февраля... А 22 марта, там же, на Украине, его снова контузило, и снова — что за оказия! — в день рождения...

Запомнилось и еще одно событие той поры: его приняли в партию. В политотделе бригады, вручая билет, сказали: “Будешь комсоргом! Дивизиона!.. Девятнадцать лет — за тобой пойдут!” Приказы в армии, как известно, не обсуждаются...

...А война в то лето перевалила уже через двухлетний кровавый рубеж. И конца ей не было видно... Мише Борисову, уже сержанту, она приготовила к этой дате новое, и теперь уже можно сказать со всей определенностью, главное испытание.

...Назревала битва на Курской дуге. Артдивизион, в котором служил он в должности комсорга, занимал огневую позицию фронтом на Прохоровку, которой завтра предстояло стать известной не только всей России, но и Европе...

Ранним утром комсорг дивизиона Михаил Борисов, соблюдая маскировку, пробрался на батарею старшего лейтенанта Ажиппо. Что скрывать — тревожно было на душе. Знал уже, как, впрочем, знали и батарейцы, что выступ Курской дуги — это, по сути, клин в оборону противника. И не надо было обладать полководческим гением, чтобы угадать намерение немецкого командования — отрубить этот клин, прорвав нашу оборону у его основания, справа и слева, окружив, а потом уничтожив сосредоточенные в нем войска.

К полудню комсорг успел посидеть (по-фронтовому — “покурить”) в каждом орудийном ровике, старался приободрить солдат, особенно комсомольцев, новичков, для которых предстоящий бой станет в подлинном смысле боевым крещением.

...Внезапно над батареей взлетел резкий, как выстрел, крик: “Танки по фронту!” Клацнули затворы пушек. Наводчики замерли у окуляров панорамы..... “Не стрелять! Подпустить ближе!” Командир, наблюдая за танками (насчитал 19 штук), понял, что они не замечают пока батарею, хорошо замаскированную. И этим глупо было бы не воспользоваться... Но через минуту-другую он же срывающимся голосом рявкнул: “Огонь!”

Три пушки почти синхронно подпрыгнули, изрыгнув пламя и дым. Четвертая почему-то замешкалась. Молодой наводчик судорожно работал маховиками наводки, а руки не слушались его... Сержант Борисов подскочил к пушке, оттолкнул салагу, сам прикинул к окуляру панорамы. Через мгновение пушка, как бы оправдываясь за промедление, рявкнула, что называется, во всю глотку, цель, выбранная ею, вспыхнула... Точными оказались и второй, и третий выстрелы.

Не зевали и другие расчеты: перед фронтом батареи горело уже шесть танков. Остальные начали обходить батарею, продолжая бить по ней из пушек и пулеметов. Ничего не скажешь, стрелять ребята тоже умели. Разнесло в щепки одно орудие, другое... Комсоргу повезло: успел сделать еще несколько прицельных выстрелов, пока взрывом не завалило пушку на бок, а его не бросило на бруствер. Приподняв голову, увидел: четвертое орудие цело! К нему, пригибаясь, бегут комбат и взводный... Рванулся туда же: “Снаряд, быстро!” — крикнул, прильнув к окуляру. Пушка выстрелила... почему-то беззвучно... “Тигр” закрутился на одной гусенице... Вторым снарядом добил его... Тот, что шел справа, начал пятиться, повернулся бортом..... Сержант не прозевал этого мгновения, поймал борт в перекрестие, пушка подпрыгнула, и опять бесшумно. Кто мог более подробно рассказать об

этом бое, длившемся, как показалось Мише Борисову, бесконечно долго, а на самом деле, как ему сказали, не более десяти минут? Пожалуй, только генерал, наблюдавший за ним в бинокль с командного пункта..... Один за другим у него на глазах вспыхивали танки... Но гибли и оружейные расчеты..... он видел, как к “живой” еще, но замолкшей пушке (расчет был срезан пулеметом) стремительно, в три прыжка, подскочил какой-то солдатик, схватился за маховики наводки, и она, напрягшись всем своим железным телом, тут же извергла острый язык пламени в сторону “тигров”, и еще раз. И еще... Но вот скрылось за черным кустом разрыва, замерло и это орудие...

Генерал опустил бинокль и, резко, как никогда, приказал: “Живым или мертвым найдите мне его!” — он имел в виду солдата, последнего, как ему казалось, живого на батарее.

Об этом рассказал потом Мише Борисову замполит бригады: он вызвался выполнить приказ генерала. Подскочив сколько-то на машине, он, в сопровождении двух ординарцев, короткими перебежками стал приближаться к огневой позиции батареи... Сержант Борисов в эту минуту, остыв от горячки боя, вдруг ощутил, что гимнастерка и брюки на нем буквально набрякли кровью... Кровь стекала и по лицу, и это его очень испугало: “в голову, выходит, ранен...” Поднялся, пошел... и сразу понял: ранен не только в голову, но и в спину, и в ногу.

Замполит увидел его уже метрах в ста от батареи. Истекавшего кровью сержанта солдаты подхватили на руки, втолкнули в машину. Офицер крикнул: “Быстро, в госпиталь!” И захлопывая дверцу, добавил: “Молодец, сержант! Семь штук на твоём счету!”

А было все это 11 июля 1943 года, за сутки до начала самого крупного за всю Великую Отечественную войну танкового сражения под Прохоровкой, на Курской дуге... Вылазка, какую осуществили немцы в тот день, в тактических планах обозначалась всего лишь двумя словами: разведка боем. Сержант Борисов вполне “удовлетворил” любопытство разведчиков, убедил их, что русские не дремлют и что “дугу” они выпрямить не позволят... Командование представило его к званию Героя Советского Союза, и через полгода, Указом от 10 января 1944 года, этого звания он был удостоен... Видимо, не сразу наградной лист дошел до высокого стола, да это и не удивительно: героизм “русских Иванов”, как называли нас немцы (“фрицами” кликали их мы), был в том сражении действительно массовым, и рассмотреть быстро все представления было невозможно.

Лет через двадцать, когда у бывшего артиллериста-наводчика дело все-таки дошло до стихов, написалось:

Сорок третий горечью полынной  
На меня пахнул издалика —  
Черною, обугленной равниной  
Видится мне Курская дуга.  
“Тигры” прут, по-дикому упрямы,  
Но со мною в этот самый миг  
Прямо к окуляру панорамы  
Целый полк, наверное, приник.  
Громыкнуло сразу на полсвета.  
Танки, словно факелы, горят...

Раны, полученные в бою под Прохоровкой, Михаил Борисов не залечил до конца — не хватило терпения. Не сняв еще бинтов, сбежал в свою часть, и снова добровольно... Успел к сражению за Харьков, форсировал Днепр в районе Букрина, освободил Киев, с боями прошел через всю Польшу, форсировал Одер севернее Кюстрина, прибавил к Золотой Звезде еще два боевых ордена, стал лейтенантом, участвовал в уличных боях в Берлине, стрелял прямой наводкой по рейхстагу, 2 мая 1945 года с достоинством “русского Ивана” расписался на одной из его колонн: “Был здесь.....”

Но я начал рассказ о Михаиле Борисове как о поэте, и теперь самое время вернуться к тому началу... У читателей наверняка возник вопрос: “Неужели он писал стихи на фронте?”

Нет, на фронте не писал. Хотя желание такое не умирало в его душе. Жило глубоко потаенно, и когда представлялся случай, он-таки рифмовал какие-то строчки — “в уме”, конечно; хотя бывали случаи, что и записывал их на подвернувшийся листок бумаги — карандашом, разумеется (где ее возьмешь, на фронте, ручку!), совал тот листок в карман гимнастерки в надежде продолжить начатое, а тут снова то бой, то марш. Снова рытье окопов... и могил — тоже... До стихов ли? Через неделю—другую листок тот “превращался в труху”, как он вспоминает теперь... И о словах, написанных на нем, можно было лишь догадываться. И все же, все же...

В степи, где огня не выдерживал камень,

Мечталось о книге, что сам напишу, —

через годы и годы признается поэт. Что такое стихи, и как они делаются, он уже знал и на фронте, не во всех тонкостях, конечно, но знал. Больше того, знал радость первого успеха: за два года до войны, на городской олимпиаде детского творчества, набравшись храбрости, он со сцены прочитал свое стихотворение “Смерть комиссара” (речь в нем шла о гибели комиссара погранзаставы) и был удостоен первой премии — маленького школьного глобуса. Как же завидовали ему ребята! С каким значением выкрикивали, когда он шел с этим глобусом по улочке городка: “Поэт! Пушкин!”

...А война приближалась к концу. На перекрестках фронтовых дорог заметно веселее и, сказать по-солдатски, фартовее работали флажками солдатки-регулирующие, а на щитках, прибитых к столбам, прямо-таки кричали, поднимая дух, надписи: “До Берлина 100... 80... 50 километров!” В те дни в голову сержанта Борисова невольно приходила мысль: что он будет делать, если вернется с войны? Ведь за душой всего лишь восемь классов... Выходит — что же — придется сесть за парту? Это после четырех-то лет фронта? И тебе уже за двадцать! Трудно было даже представить такое...

В родной городок Камень-на-Оби он вернулся первым... первым... не на костылях, а на своих ногах. У пристани народу собралось — не протолкнуться. Вплотную к трапу — родная школа, в полном составе! А дальше — платки, платки... И еще флаги, плакаты, цветы... И даже оркестр! Городок встречал не просто Мишу Борисова, которого помнил школьником, а Героя! Заметил, ступая по трапу: женщины улыбались, но чаще сквозь слезы. А некоторые откровенно плакали. Плакали о тех, кто не сойдет по этому трапу уже никогда.

Праздник возвращения остался в памяти Миши Борисова единственным, пожалуй, светлым пятном в длинной череде послевоенных годов, олицетворявших собою ту самую “мирную жизнь”, о которой так сладко и так радужно мечталось на фронте. Что он мог в этой жизни? И что умел?.. На фронте — да, умел стрелять из пушек, рыть окопы, варить солдатскую кашу... А здесь? Ничего... Робко думалось о стихах. Но без образования-то — как?..

Побывал в роно\*, узнал, что власть позаботилась о таких парнях, как он: открыла вечерние школы. Как утопающий за соломинку, ухватился за это благо. Закончил 9-й и 10-й классы, получил аттестат, а с ним — выбора не было — поступил в юридическую школу; отучившись в ней два года, продолжил образование в юридическом институте, правда, заочно, и через шесть лет закончил его.

Каких трудов и лишений ему все это стоило, знает только он. Времени на учебу не хватало (приходилось подрабатывать), повторялись сердечные приступы, мучили головные боли: давали о себе знать тяжелые фронтовые контузии.

Не удивительно, что только через семнадцать лет после возвращения с войны Михаил Борисов взялся за перо. Искра Божия все эти годы тлела в его душе и вот вспыхнула наконец, может быть, уже не самым ярким пламенем, но все равно замеченным и редакторами журналов, и читателями...

Когда вышел в свет первый сборник его стихов (Кемерово, 1965 г.), он, припомнив все, что ему предшествовало, написал:

А жизнь подчас была как полоса,

Что штурмовою в армии зовется.

Для тех, кто не служил в армии и служить не собирается, поясню: “штурмовой полосой” там зовется полоса искусственных препятствий, которую каждый солдат должен научиться преодолевать сноровисто и быстро, как того потребует настоящий, боевой штурм. Фронтная закалка помогла поэту: преодолел он эту полосу. Штурмом взял! Совершил, по сути, еще один подвиг, на сей раз гражданский. В полной мере оценить его могут, пожалуй, только те из сверстников, которые без проблем сразу после войны шагнули в светлые аудитории Литературного института.

Вполне допускаю, что многих из нынешних молодых удивит уже первая страница моего повествования о друге-поэте: “Как?.. В семнадцать лет?.. Добровольцем?.. На фронт?” — воскликнут они, не умея ни понять, ни объяснить столь безрассудного, а по их нравственным меркам, даже глупого поступка своего ровесника из далеких теперь уже сороковых годов. А узнав, какую цену пришлось ему заплатить за ту “глупость”, они рот раскроют от удивления: “И не скажешься?!”

Нет, не скажешься! Это я знаю твердо. Но объяснить себе тот “глупый” поступок пытался... Чем? Напрашивалось самое простое: “молодо — зелено”... Но нет, в эту формулу он не укладывался, потому что не был только его, личным, поступком. Он был поступком миллионов, незрелость тут ни при чем. Тут решающим, главным было время, даже громче скажу — воздух, которым это поколение дышало. А он, воздух, был не только “бодрящим” (Некрасов), но и тревожным, пред-грозовым. Буржуазному Западу, мягко выражаясь, не по душе был народ, только что стряхнувший с себя обморок рабского послушания, извечного самоуничижения; народ, высоко, с достоинством державший голову, готовый постоять за себя. Господа империалисты сколько угодно могли называть его “колоссом на глиняных ногах”, но не могли не понимать, что снова согнуть его, поживиться за счет его “жизненным пространством” становилось все более проблематичным, а может быть, уже и невозможным.

Нет, не скажешься! Это я знаю твердо. Но объяснить себе тот “глупый” поступок пытался... Чем? Напрашивалось самое простое: “молодо — зелено”... Но нет, в эту формулу он не укладывался, потому что не был только его, личным, поступком. Он был поступком миллионов, незрелость тут ни при чем. Тут решающим, главным было время, даже громче скажу — воздух, которым это поколение дышало. А он, воздух, был не только “бодрящим” (Некрасов), но и тревожным, пред-грозовым. Буржуазному Западу, мягко выражаясь, не по душе был народ, только что стряхнувший с себя обморок рабского послушания, извечного самоуничижения; народ, высоко, с достоинством державший голову, готовый постоять за себя. Господа империалисты сколько угодно могли называть его “колоссом на глиняных ногах”, но не могли не понимать, что снова согнуть его, поживиться за счет его “жизненным пространством” становилось все более проблематичным, а может быть, уже и невозможным.

Какую же работу надо было повернуть руководству страны, — имею в виду в первую очередь идеологическую, воспитательную работу, — чтобы народ стал таким, чтобы тревога за судьбу молодого социалистического государства, оказавшегося в капиталистическом окружении, стала его постоянной тревогой. Каждое слово вождя, каждое державное действие партии и правительства, каждый новый фильм, новая книга, песня... и даже мальчишеские игры растили, будили ли эту тревогу.

Осмысливая то время с высоты фронтового опыта сверстников, он напомнил им:

Помните, как школьною порой

Мы, юнцы, в Чапаева играли?

Только это не было игрой —

Мы азы Победы постигали.

Он имел право перекинуть столь длинный мост от мальчишеских игр к великой Победе, потому что прошел по этому мосту сам, прошел, срываясь и падая, на ходу перебинтовывая раны, но ни в чем не раскаиваясь. “Было в нашем подвиге солдатском

/Внутреннее, личное веленье”, — подтвердил он сказанное выше в другом стихотворении. Очень важное свидетельство! Веление Родины для его поколения было личным велением каждого.

Прошло почти двадцать лет, как отгремели последние залпы войны, а Михаилу Борисову продолжали сниться (это хорошо знают старые солдаты), продолжали сниться “военные” сны. Да если бы просто сны, а то кошмары, более жестокие, чем явь, которую он знал:

Глаза..... закрою на минуту,  
И сразу, тут как тут,

Вновь силы дьявольские люто  
Вокруг меня взревут... —

делится он своей бедой с читателями. В другом стихотворении — более конкретно:

Высота..... И падают солдаты —

Руки врозь — в колючую стерню,

Словно все на свете автоматы

Рубят их, сердечных, на корню.

Путь, пройденный им от Сталинграда до Берлина, предстает в этих кошмарах одним грохочущим и дымным, “солдатским полем”, на котором — что ни ночь, то бои, бои, бои...

Скрежет танковых траков

На поле моем

Поднимает с постели ночами.

Я по “тиграм” во сне броневой бью...

Добро бы одна ночь такая. А если их бесконечная мучительная череда?!

О Господи, — взываю я тогда, —

Яви одну-единственную милость

И сделай так, чтоб мне война

Не снилась

Отныне и веки. Никогда.

Но если бы только сны... Душу угнетала и сама память о войне. И не было способа если не избыть ее, то хотя бы приглушить, кроме одного: рассказать, переплавить в стихи. Стал замечать: опубликованные, они живут отдельно от автора. Рассказать — и тем самым хоть немного разгрузить, облегчить душу. Да и не имел он права унести эту память с собой... Любое свидетельство о войне, а свидетельство окопного солдата особенно, не будет лишним для потомков. Мог ли, к примеру, генерал, пусть даже самый боевой, припомнить после войны вот такую картину:

Мы под обугленным селом,

Чумазые, как черти,

Который день в снегу живем,

За сто шагов от смерти.

За сто берет и автомат,

Кучней ложатся мины...

Но пострашнее для ребят

Мороз, что дубит спины.

Шинель — не зимнее пальто,

И пахнут дни не щами.

Баланду в термосах — и то

Подносят к ним ночами...

Добавлю (по собственному опыту): днем об этом и думать нечего. Днем (это уже из стихотворения самого М. Борисова):

Мины землю рубят, как зубилом,

Как кувалдой, лупят “мессера”.

Обращает на себя внимание и еще одна подробность из приведенного выше стихотворения: “Подносят баланду”, а не щи, — бывало так на фронте... А хочется щей, домашних, горячих... И поскольку при “жизни” в окопе разрывы мин и снарядов — повседневная реальность, а щи — мечта, то, вполне естественно, они и снятся:

В окопе, промороженном до хруста,  
Мне снятся щи,  
Домашней варки щи.

О таком сладком сне невозможно было не рассказать соседу по окопу. И никакие другие слова не могли венчать тот рассказ, как только эти:

Бывает же такое наважденье —  
Идет война, а снятся только щи.

А сколько зримых деталей, достоверных жестов и выразительных реплик в стихотворении “Психическая атака”! Она действительно была такая со стороны противника, и наводчик орудия сержант Борисов, отражая ее, не сдрейфил, отличился и храбростью, и боевой выучкой. Цитировать такое стихотворение — только портить его. Думаю, читатель извинит меня, а может, и поблагодарит, если я приведу его полностью.

Психическая атака  
Они идут за рядом ряд,  
Как три лавины,  
За ними Ворошиловград,  
Пол-Украины.  
И тянет явно коньяком  
От их походки...  
А мы скупым сухим пайком  
Заткнули глотки.  
Припали к снегу, затаясь,  
Мороз по коже:  
Идет коричневая мразь —  
И все же, все же!  
У дула черное кольцо,  
Не видно неба,  
Мне пистолет сует в лицо  
Комбат свирепо.  
Орет:  
— Ты, Мишка, сибиряк,  
По скулам вижу.  
Дай подойти им, так-растак,  
Как можно ближе! —  
Мой командир еще орет,  
А сам при этом  
Плашмя со лба стирает пот  
Тем пистолетом.  
Меня он знает — не слабак,  
В мозолях плечи.  
Я подпущу врага и так  
Под хлест картечи.  
И подпустили мы его,  
И смерч ударил.  
Не видно больше ничего  
В смердящей гари.  
Комбат опять орет:  
— Растак,

Бери пониже!  
Ты — настоящий сибиряк,  
По хватке вижу!..  
А враг нахрапом прет и прет  
К моей траншее,  
И у меня холодный пот  
Бежит по шее.  
Порушил цепь убойный град,  
Мутится разум...  
Но бью еще — и новый ряд  
Ложится наземь.

Наверное, много еще стихов о войне написал бы пушкарь Михаил Борисов. И в русской батальной поэзии заметно прибавилось бы “горькой правды о солдате” (его слова), которой недостает в стихах сочинителей, видевших войну со стороны. Да и лирика не была ему чужда. Не раз смотревший смерти в глаза, он имел право, так сказать, посидеть у тихой речки, помечтать, подивиться всему сущему на земле, и даже самому мирозданию: “С какой звезды я прилетел сюда /На Землю эту грешную? Откуда?”

Или:  
Когда мне снилось это чудо?  
Река — дороги дальний след,  
Луна — серебряное блюдо,  
А звезды — россыпи монет.  
А вот и еще — просто пейзаж, просто картинка осени:  
Приглушая август и светля,  
Осень ловко, словно молодлица,  
Стелет на окрестные поля  
Покрывало выцветшего ситца.

Живописно, зримо. Слово не пером писано, а кистью... А в стихотворении, что рядом, уже не краски, а тонко переданное чувство доверия и благодарности, возникшее между человеком и табунком лошадей:

Лошадки к хлебу тянутся,  
А сами,  
Игривость безыскусную храня,  
Исподтишка  
Чуть влажными глазами  
С лукавинкой косятся на меня.  
...Неплохо, вроде бы..... Но нет, хочется большего:  
Я колдую над строкою,  
Тороплю ее в полет  
И казнюсь, что под рукою  
Колдовства недостает.

Похвальная неудовлетворенность сделанным, порою — не далее, чем вчера; неудовлетворенность, присущая истинным поэтам! И она обещала новые художественные открытия, особенно в лирике.

Но... случилось непредвиденное: на страну девятым валом накатился “гиблый блуд перестройки”. Так определил поэт-солдат Михаил Борисов начавшуюся в середине 80-х трагедию контрреволюционного переворота в Советском Союзе задолго до того, как организатор и вдохновитель его М. Горбачев на семинаре в Американском университете в Турции (1999 г.) расшифровался наконец: “Целью всей моей жизни было уничтожение коммунизма. Именно для этой цели я использовал мое положение в партии и в стране”.

“Уничтожение коммунизма...” значит, уничтожение таких носителей его, как Михаил Борисов... Интуитивно уловив намерение Иуды, поэт в предисловии к своему “Избранному”, вышедшему в свет в 1999 году, с достоинством русского солдата-Героя заявил: “Лично для меня воцарившееся ныне время, а также сопутствующие ему железные тиски беспредела и хаоса сразу переросли в настоящую трагедию. Как в общем и для многих моих ровесников. Мы ведь родились, выросли и состарились вместе с Советской властью, были свидетелями возмужания Отчизны, ее смертельной схватки с фашизмом, ее возрождения из пепла”.

Для выражения чувств, переполнявших его с этого времени, требовалось иное, более грозное оружие — публицистика, исполненная гражданственности, патриотизма, высокой нравственности. И он этим оружием овладел! Перевертыши, предавшие и Советскую власть, и партию, ненавистны ему до омерзения:

Встает из мглы угрюмый лицедей,  
Беснуется, как может и как хочет,  
И на брусчатке старых площадей  
Над нашими святынями хохочет.  
Он снова всемогущ и многолик,  
Его напор  
Атаки танков горше.....

Это какой же болью должна болеть душа поэта-солдата, чтобы разрушительный напор лицедеев, наглость, ставшая их девизом, показали ему “атаки танков горше”?

А что народ перед лицом этой наглости? Народ великой страны? Народ, совершивший социалистическую революцию; за 15—20 лет после нее научившийся делать танки и самолеты; сломавший хребет науськанному на него Европой завоевателю, за 10 лет преодолевший послевоенную разруху, перегородивший плотинами могучие реки, распахавший неоглядную целину, создавший, в ответ на вызов США, атомную бомбу; первым с планеты Земля врубившийся в космос?

Что же народ?.. Такой вопрос не мог не встать перед поэтом. И вот его ответ, полный горечи и сожаления:

По всей стране моей народ  
На адском мечется изломе.

Мечется..... на изломе... на адском изломе! “Преувеличение!” — скажет тот, кто устроился уже у корыта.

“Нисколько!” — отвечу я. Поэту-солдату с высоты его подвига (имею в виду психологическую, нравственную высоту) виднее. И я верю ему!.. Да и сам не слепой. Мечется народ, сбитый с пути, по которому шел 75 лет, мечется, не в силах понять логику случившегося, мечется, готовый что-то предпринять, но не знающий — что...

Новоявленные буржуи, среди бела дня ограбившие его и усевшиеся ему на шею, а вместе с ними их ставленники во власти, презрительно кривя рот, говорят: “Плохой народ! Пьет, ворует, разбойничает, убивает... Дети его беспризорничают, занимаются проституцией... Это при живых-то родителях! Стыд, позор!” — кипя возмущением, восклицают они.

Что мог бы ответить народ на это, если б он мог ответить? То есть если бы ему позволили раскрыть рот перед телекамерой, как это позволено ежедневно, по секундам немерянно, Немцову, например, Жириновскому, Швыдкому, Познеру, Хакамаде и др.; если б хитроумный и вездесущий Шустер благоволил народу так же, как названным выше выходцам из народа?

Боясь не уложиться в отсчитанные ему в телешоу “Свобода слова” 25 секунд, народ для ответа на облыжные обвинения извлек бы из национальной копилки мудрости всего лишь четыре слова:

— Что посеешь — то и пожнешь!  
И был бы прав!

Вспомните, что вы посеяли, господа? Социальное неравенство, эксплуатацию человека человеком, безработицу, безнравственную масскультуру, сексуальную революцию — щедро посеяли, перекрестным способом — и ждете, что взойдут цветы всеобщего счастья и благоденствия.

— Не взойдут, — отвечают вам те, кто еще способен мыслить, отличать черное от белого. — Не взойдут, потому что народ, в национальном масштабе, это уже “проходил” и хорошо знает (а генетической памятью — помнит), какими всходами “радовал” его дедов и прадедов подобный посев. И помня, пятиться назад не захочет.

Пока же он пребывает в растерянности и разброде, демонстрируя своим поведением реальные всходы, а не те, какие рисуются в воображении новоявленным хозяевам жизни. Поэт, умудренный суровым опытом войны, чутко уловил это состояние народа:

Ордынским одурманенным угаром,

Народ

Толпе разгульной стал сродни.

На первом месте здесь, как и следует быть, причина, на втором — следствие: “одурманенный... стал”. Но если “стал”, то, значит, не был таким, не был “толпой разгульной”. Стал ею только в эти “перестроечные” годы; стал, вдоволь хлебнув “дурмана” предательства, лжи, воровства, пьянства, наркомании, проституции, заказных убийств, детской беспризорности, нищеты — то есть всего того, что надежно обеспечивается фундаментальным законом капитализма: “Человек человеку волк”. Поэт назвал этот угар “ордынским”. Наверное, справедливо, хотя такого разврата — изощренного, публичного, на глазах у детей — уверен, не знала и Орда. Задыхаясь в этом “угаре”, поэт начинает терять веру в то, что в конце концов, он, угар этот, будет развеян ветром народного возмущения, материализую-щегося пока только в вопль: “Доколе?”

Слабее становится вера во мне

Под гнетом сомнений и боли,

Пока одиноко плывет по стране

Тягучее слово: “Доколе?”

Повсюду дурит настоящий Содом,

По-хамски хохочет Гоморра...

Что будет с Россией,

Когда мы уйдем,

Последняя рухнет опора?

“Мы” — здесь, по замыслу автора — ветераны войны, солдаты Победы. Но нам, читателям, за этим “мы” видятся не только солдаты, но и все военное поколение. Да, оно делилось на две почти равные половины — фронтовиков и “тружеников тыла”, но на деле являло собой крепчайший монолит, раздробить который не мог даже такой тяжкий молот войны, каким была подмявшая под себя всю Европу фашистская Германия.

Михаил Борисов принадлежит к этому поколению. Он гордится им, называет опорой государства. Но вместе с тем и тревожится: “Что будет с Россией”, когда оно уйдет? Тревога эта разрывает его душу. Он сравнивает ее с тревогой солдат — защитников крепости, только что, с большой кровью, отбивших приступ врага и вдруг получивших приказ оставить ее.

Что это: предательство? Измена? Мучительно раздумывая над этим, поэт-солдат приходит к неожиданному выводу: война 1941—1945 годов, хотя она и была неслыханно кровопролитной и разрушительной, не стала главным, искупающим все страдания испытанием для народа, — оно, главное, впереди. Желая довести этот вывод до сознания всех, кто оборонял крепость-Россию, поэт пророчествует:

Мы начинали, знаете, с зачета,

Нас ждет еще экзамен основной.